

НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ

Михалина Шibaева

«Томление духа» в менталитете этноса

При обращении к этнокультурному многообразию и «разноголосию» (Бахтин) человечества трудно не оказаться в ситуации «обнаружения» сложности и безграничности всего проблемного пространства данного феномена. Естественно, что наличие проблемной «полисюжетности» и ее открытого характера обуславливает важность авторского самоопределения в круге нескончаемых вопросов и о национальных образах мира, и об уникальности каждого из типов «космо-психо-логоса» (Гачев), и о месте любого народа в мировом историко-культурном процессе, и еще о многом-многом, отражающем неповторимость и уроки этнических судеб.

Разделяя положение Вильгельма Виндельбанда о том, что «...дифференцированные культурные формы народов должны сохранять свой собственный характер, подобно формам отдельных индивидов...»¹, правомерно, на мой взгляд, выделить и проинтерпретировать ряд тех моментов, которые связаны с индивидуальными-личностными проявлениями у человека специфики мирозерцания и жизнеощущения, присущих его народу. При этом особого интереса заслуживают те грани *Бытия и Мышления* и те стороны этнического самосознания и народного творчества, которые сопряжены с хронотопом культуры. Отмеченная еще Л.Н.Толстым органичность стремления установить «свое отношение ко всему бесконечному во времени и пространстве миру»² находит свое воплощение у разных народов не только в фольклорной стихии, но и в тех или иных формах индивидуального переживания этого отношения. Именно поэтому будут проакцен-

тированы те особенности континуально-пространственного «томления духа», которые носят характер «участно-действенного переживания конкретной единственности мира»³.

Хорошо известно, что понятие хронотопа культуры, введенное А.Ухтомским и М.Бахтиным, неразрывно связано с ценностно-смысловыми и эмоционально-психологическими основаниями жизнедеятельности любого народа, своеобразно выражающего и в обрядах, и в пословицах, и в традициях семейно-бытового уклада единственность «вмещающего и кормящего ландшафта» и «отмеренность» (Гумилев) времени собственной судьбы. Поскольку же коллективные представления народа об исторических истоках его «времени и места» не могут не преломляться на индивидуальном уровне, то душевные переживания человека так или иначе воспроизводят этнокультурные особенности и в сфере темпорального мышления и в смысложизненной проблематике. (Как тут не вспомнить о картине Поля Гогена «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?»)

И действительно, и у «цивилизованных» и у «естественных» (Руссо) народов степень напряженности «томления духа» по поводу вопросов о времени и направленности индивидуального бытия тем выше, чем острее потребность в обретении его смысла. В том случае, когда человек проникается заветами народной педагогики, с одной стороны, и собственной житейской мудростью, с другой, он начинает понимать истинный смысл своего повседневного существования. Смысл этот заключается, говоря словами В.М.Шукшина, в том «чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще — чтобы не пропустить прекрасного в этом мире»⁴.

Не трудно заметить, что в шукшинской трактовке смысловая наполненность бытия «простых людей» являет собой гармонизацию ценностей жизни и ценностей культуры. Как одна из моделей разностороннего и продуктивного самоосуществления «мира человека» шукшинский подход к решению смысложизненных вопросов вряд ли выглядит спорным. Однако в реальности многие тексты культуры (от былин и народных сказок до произведений профессиональных авторов) воспроизводят устойчивый, можно сказать, вечный характер того самого «томления духа», которое нередко активизирует не только духовно-нравственные искания личности, но и ее творческие задатки.

С точки зрения обнаружения в творческих формах индивидуальных проявлений «космо-психо-логоса» различных народов известный интерес представляют два текста: «Жизнь Матвея Ко-

жемякина» Максима Горького и «Кола Брюньон» Ромена Роллана. Главных персонажей каждой из книг объединяет один и тот же способ *подведения счета миру* в конце жизненного пути *типичных* носителей и качественно определенного менталитета своего народа и этнического самосознания (русского и французского). Речь идет о стихийном выборе и жителем городка Окурова и мастером из Кламси жанра дневника, в котором каждый – в соответствии и с атмосферой родного края и с особенностями национального характера – воссоздает, истолковывает и оценивает жизненный опыт и впечатления от окружающего мира.

Главной причиной, эмоционально-психологическим побудителем обращения обоих персонажей к жанру *дневниковой исповеди* выступает то томление духа, своеобразие которого вызвано переживанием себя, пройденного пути и *памяти сердца* о близких родственниках и земляках. Именно поэтому одним из сквозных мотивов воспоминаний и Матвея Кожемякина, и Кола Брюньона оказываются *мерцающие* ассоциации-образы родной стороны, т.е. особого *космо*, в котором отпущено каждому из них войти в земной мир, обжить-испытать, а затем и покинуть... *Разноликость* обоих *косм* в известной мере сопрягается со своеобразием мира человеческой субъективности каждого из авторов дневника – и с точки зрения передаваемой атмосферы социокультурной реальности, и в плане типологических взаимоотношений, и содержательно-смысловой наполненности *томления духа* по поводу себя и жизни, *единожды подаренной* и оцениваемой в преддверии ее завершения. И хотя их обоих объединяет то, что «сама потребность взяться за перо лежит в душе растревоженной» и дневник каждого – это «поиски выхода из этих смятений, из этих сомнений»⁵, сами исповеди уникально-неповторимы, начиная с переживания особенностей своей *малой* родины.

Вот какво жизненное пространство Матвея Кожемякина: «Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди нее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони»⁶. Стоит подчеркнуть, что в качестве эпиграфа к самому Окуровскому циклу повестей Максим Горький предпослал слова Ф.М.Достоевского: «...уездная, звериная глушь», подчеркнув тем самым, что глушь эта во многом предопределила неизбежность обращения одного из окуровских жителей к прошлому. В результате «по ночам, подчиняясь неугомонной старческой бессоннице», Матвей Кожемякин создает «Мысленные и сердечные замечания, а также некоторые случаи из жизни

города Окурова, записанные неизвестным жителем сего города по рассказам и собственному наблюдению»⁷. Ночную же работу по раскрытию различных граней «томления духа» он исполняет «день за днем... для чтения с доверием и для познания скорбной жизни уездного русского города». Не трудно догадаться, что в такой-то глуши у него не могло не родиться желание попросить через свои воспоминания «прощения у людей, мимо которых прошел, — прощения себе, и всем, кто бесцветной жизнью обездолил землю»⁸.

Тональность же дневника Кола Брюньона, жителя Неверской Бургундии исполнена «вольной галльской веселости... вплоть до дерзости»⁹. И хотя все повествование относится ко времени средневековья и характерных для него испытаний войнами, эпидемиями и других невзгод, рожденный на юге Франции автор не просто рассказывает «то, что видел, то, что сказал и сделал...» (Там же). Как сам он признается на первой же странице чистой, «совсем новенькой», открывающей ему «объятия» тетради, он не может не писать потому, что «...приятно потрогать, пощупать и помять все то, что подумал, заметил, собрал, посмаковать губами, испытать на вкус... Рассказывать самому себе все то, что не успел спокойно вкусить, пока ловил на лету!»¹⁰ И само его желание подвести «счет этому миру» наваяно, в отличие от окурковского жителя, не тоской «в избитом и больном сердце»¹¹, а тем, что «...приятно пройтись по своему маленькому миру, сказать себе: «Он мой. Здесь я хозяин и повелитель. Ни холод, ни мороз над ним не властны. Ни король, ни папа, ни войны. Ни моя старая ворчунья...»¹²

Однако и в забытой Богом и людьми окурковской маяте монотонного проживания отпущенных десятилетий, и в облаканном солнцем Кламси и душа и мысль исповедующихся героев (т.е., говоря словами Гачева, их «психо-логос») едины в ощущении того, что в итоге их жизнь — «горсть пепла и налетающий ветер смерти»¹³. Иными словами, при ярко выраженной полярности типов среды обитания и общения, оба мучительно размышляют (по сути, рефлексировуют) над одной из главных экзистенциальных проблем: о причинах и последствиях упущенного времени. Но в отличие от прустовского потока сознания относительно трагического характера утраты Времени Бытия и предания этой утрате статуса фатального явления, проблематика темпоральных переживаний Матвея Кожемякина и Кола Брюньона имеет качественно иные смысловые нюансы.

Во-первых, ночные размышления окурковского жителя, пытающегося самому себе объяснить в дневнике истоки его недовольства не столько окружающими, сколько самим собой, навая-

ны признанием собственной вины за «пустотность» отпущенного срока на земле. Сокрушаясь из-за того, что «человек послан богом на землю эту для деяний добрых, для украшений земли радостями — а мы для чего жили, где деяния наши, достойные похвалы людской?»¹⁴, Матвей Кожемякин воспроизводит (разумеется, сам не догадываясь об этом) одну из традиций русской литературы — постановку вопроса о невозвратимости упущенных лет, о впустую растроченной молодости. Тема «человек — время — судьба» была задана в качестве духовной традиции еще автором «Евгения Онегина». Именно поэтому не забываются заученные по строгому *предписанию* учителя строки, которые в определенную пору жизни обретают особый смысл:

*Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.*

Но разве не про то же самое у окуровского мыслителя, сокрушающегося по поводу «лени духовной и телесной», из-за которой «не понял я во-время наставительных и любовных усилий жизни и сопротивлялся им, ленивый раб»?..¹⁵ По сути сам кожемякинский дневник являет собой исповедь-покаяние о расстроченности, о греховности праздного отношения к времени как божественному дару, отпущенному человеку. Такое экзистенциально-этическое проживание чувства вины за потерянное время жизни находит свое воплощение в качестве одной из граней духовно-творческого пространства отечественной культуры. В связи с присутствием нашей культуре темпоральным характером *томления духа* опять *к месту* оказываются пушкинские мотивы неприятия светской монотонности жизни:

*Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней.
Ни общих мнений, ни страстей.*

И как не вспомнить о многочисленных поэтических формулах переживаний Сергея Есенина — одного из *«самых-самых»* русских поэтов — о том, «как мало пройдено дорог, как много сдела-

но ошибок»?.. Не так уж случайно и то обстоятельство, что в драматургическом наследии Леонида Андреева две пьесы («Жизнь человека» и «Дни нашей жизни») воссоздают символическую трактовку вечной проблемы конфликта между краткостью земного бытия и Вечностью.

Отсюда второй момент русского *«миллиона терзаний»*: размышления о собственной несостоятельности, неумении во-время понять как себя, так и свое мироотношение с тем, чтобы целенаправленно и плодотворно «спасти» оставшиеся годы. Непреодолимый разрыв между мечтой о самосовершенствовании и неизменностью своего однообразно-бесцельного существования в дневнике Матвея Кожемякина объяснен так: «Не единожды чувствовал я, будто некая сила... толкала меня на путь иной, неведомый мне, но — вижу — несравненно лучший того, каким я ныне дошел до смерти по лени духовной и телесной, потому что все так идет»¹⁶. И эта несоразмерность-несопоставимость природного пространства («макрокосма») жизненной реальности и краткосрочности бытия человека («микрокосма») являет собой один из «сквозных» сюжетов особого рода текстов культуры — текстов исповедального жанра.

При всем многообразии текстов подобного рода и творческой разноликости их авторов просматривается общая черта: это *томление духа* в форме «самобичевания» из-за того, что, говоря словами одного из героев В.М.Шукшина, «Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая»¹⁷. Стоит заметить при этом, что эта тема «самоосуждения» и тревоги по поводу «не так прожитой жизни» занимает важное место в контексте творческого наследия Василия Шукшина. Таким образом, и приведенные в качестве иллюстраций рефлексивные пушкинско-есенинские строки по поводу упущенного времени, и покаянные мотивы окурковского автора дневника, и сожаления шукшинских персонажей (а еще уместно вспомнить «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца и ряд других созвучных образцов) воспроизводят, по сути, темпоральную проблематику как один из источников душевной *«маять»*.

Между тем эти образцы *томления духа* по промотанным дням, неделям, годам, десятилетиям жизни в определенной мере противоречат устойчивой традиции раскрытия своеобразия русского менталитета через абсолютизацию либо невозмутимо-эпического, либо беззаботно-лихого отношения к отмеренному времени жизни. Разве не были воспеты в русском фольклоре, чудеса

храбрости и смекалистости тех сказочно-былинных героев, которые, прежде чем совершать свои подвиги, не одно десятилетие провели на печи и в сладкой дреме? И вряд ли можно счесть случайным совпадением воссоздание в отечественной литературе разнообразных коллизий неспешно-сонного, а потому милого сердцу существования родных и близких Багрова внука у С.Т.Аксакова, старосветских помещиков у Н.В.Гоголя, обломовцев вплоть до самого Ильи Ильича у И.А.Гончарова, галереи персонажей в пьесах А.Н.Островского. Да и некрасовский вопрос-призыв «Ты проснешься ль, исполненный сил?..» несводим исключительно к социальному пафосу, а выражает *томление духа* поэта по духовно-нравственным и психологическим ракурсам этого «затянувшегося» сна.

Феномен наличия в самосознании русского народа противоположных подходов к личностному времени между Жизнью и Смертью порожден многими факторами, в том числе и такой чертой менталитета, как отмечаемая многими деятелями отечественной культуры непоследовательность, а порой и парадоксальность. Нередко накопленный груз проявлений собственной непоследовательности и даже непредсказуемости порождает стремление объяснить эти свойства характера и оправдать их. Жажда самооправдания удовлетворяется в различных ситуациях — от полной исповеди перед случайным попутчиком до обращения к перу и бумаге. Высокий эмоциональный градус «самовыговаривания» в обстоятельствах встречи-диалога) и страстность «выплеска» в письмах, дневниках, автобиографических повествованиях «лежат в душе растревоженной» (Шукшин).

Разумеется, у каждого человека не один, а несколько сюжетов духовно-душевного напряжения и дискомфорта. Тем не менее, в проблемном пространстве феномена томления духа важное место принадлежит темпоральным переживаниям. Глубоко права Мариэтта Шагинян: «Время — это мы сами... маленькие Хроносы, живем сделанным, созданным, почувствованным, переживаемым, а потому потерянное время — это наше самоубийство»¹⁸. И когда открывается драматизм, а порой и губительность праздного существования-н е с в е р ш е н и я, тогда душевное смятение людей, подобных Матвею Кожемякину или шукшинским «героям в кирзовых сапогах» (Залыгин), находит выход в коммуникативно-творческих формах самооправдания. Одно из подтверждений тому — благотворное влияние дневника окуровского жителя на его умунастроение: «...скрип пера стал для него музы-

кой, она успокаивала изношенное, неверно работавшее сердце, и порою ему было до слез приятно видеть на бумаге только что написанные, еще влажные... слова»¹⁹.

Как правило, наряду с темой темпорализма на страницах дневников воссоздаются и те «несовместимые контрасты жития» (Розанов), которые не могли не отразиться на многих гранях человеческой субъективности. И с этой точки зрения правомерно вновь обратиться к своеобразию томления духа Кола Брюньона, вследствие которого 2-го февраля был начат дневник, а в день крещения дописана последняя страница. Примечательно, что своему желанию изложить в дневнике «...то, что видал, то, что сказал и сделал», 60-летний человек пытается найти объяснение: «Ну не безрассудство ли? Для кого я пишу? Разумеется, не для славы: я, слава богу, не дурак, я знаю себе цену. Для внуков? Что останется через десять лет от всех моих бумаг?.. Так для кого же? Да для самого себя... Мне нужно поговорить; и мне мало словесных боев у нас в Кламси. Я должен излиться...»²⁰.

Чем же наполнено-напряжено брюньоновское томление духа, в чем изливается «старый воробей, бургундских кровей, обширный духом и брюхом»?²¹ Содержательно-смысловая емкость и особого рода интонационность дневника мастера из Кламси питаны чередой трагических событий, как бы испытывших на прочность его жизненный девиз: «Не бывает мрачных времен, бывают только мрачные люди»²².

Собственно говоря, диаметрально противоположный стиль двух дневников — сокрушенно-уныло-покаянный у жителя городка Окурова и дерзновенно-ироничный у рожденного в Неверской Бургундии — обнаруживает этнопсихологические различия, носителями и выразителями которых являются Матвей Кожемякин и Кола Брюньон. У обоих источник обращения к бумаге и перу — сама жизнь, ее событийный ряд, который носит для авторов дневников характер ударов судьбы. Но в кожемякинской исповеди все излагается, разъясняется, оценивается в гармоничном соответствии содержания форме, монотонность безрадостной и полной недоразумений *череды лет* вполне адекватна интонированию-акцентированию мотивов скуки и уныния из-за того, что все идет не так, как хотелось и мечталось. А вот своеобразие самораскрытия томления духа в брюньоновском дневнике состоит в том, что вопреки сменяющим друг друга утратам «жены, дома, денег, и ног»²³ жизнеутверждающий пафос повествования героя нарастает.

Примечательно, что и сами событийные ряды, воссозданные в каждом дневнике, разномасштабны. Если беды и переживания Кола рождены прежде всего жестокими обстоятельствами Лиги и религиозных войн в стране, то плоды «сердца горестных замет» у Матвея созрели в окурившей атмосфере «дремучей размеренности». Но при всем этом оба типа «суеты сует» пробуждают и у жителя Кламси и у обывателя Окурова «страстное желание выразить действительную сущность собственной жизни»²⁴. И сущность эта — в интуитивном постижении значимости того таинства повседневного течения жизни, которым далеко не все успевают проникнуться. Переживаемое же героями Горького и Роллана таинство жизни в границах ее «времени и места» состоит в том, что «...чем большего ты лишен, тем богаче: ибо дух создает, чего ему недостает. Чем меньше у меня, тем сам я больше...»²⁵.

Одно из свидетельств тому — *встреча* с книгой, которую вдруг милосердно устроила суровая к ним обоим жизнь. И Брюньон и Кожемякин обретают радость читательского упоения уже на склоне лет и переживают акт чтения не меньше как своего рода священнодействие. Показателен в этой связи эпизод в с чтением Плутарха, образно описанный в дневнике Кола. В отличие от Кожемякина, не ведавшего, по сути, до открытия такого чуда, как книга, ощущения полноты бытия, Брюньон за много лет до встречи с томиком античного писателя и историка не однажды испытывал оптимистический настрой. Причина разницы между двумя типами жизнеотношения заключается в том, что сердце и ум окуривского жителя долгие десятилетия мирились с пустотой бездельного и монотонного существования, тогда как «космо-психолог» бургундца открыл ему с юности «радость верной руки, понятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства»²⁶. Тем не менее, мастеру из Кламси суждено было испытать точно такое же потрясение от книги, как и «обывателю» русской глубинки.

Источник незабываемых переживаний Кола — «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, в которых, как известно, воссозданы 50 биографий великих людей Древней Греции и «столицы круга земель» Рима. И вот Кола, вначале снисходительно относясь «к маленькому пузатому томику, поперек себя толще, в тысячу триста страниц, убористых и плотных, напичканных словами, как мелким зерном»²⁷, постепенно так вживается в прошлое, что заново открывает в себе ощущение счастья. Причем счастье его весьма своеобразно: оно возникает из особой манеры чтения

Брюньона, сопряженной с отпущенным ему талантом игры творческого воображения (вплоть до перевоплощения в образы плутарховских героев) и сопричастности одновременно к трем темпоральным измерениям бытия — прошлому, настоящему и будущему. Благодаря такому потрясению он вновь возвращает себе всю ту «веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту беспутную мудрость и мудрое беспутство», которые в синтезе представляют собой разновидность «этики благоговения перед жизнью» (Швейцер).

Интересно то, что включение Ролланом и Горьким в историю «скитаний вдоль и поперек жизни»²⁸ их героев *События встречи* с книгой как текстом культуры, обретает статус традиции в последующие десятилетия XX века. Стремительное усложнение всех ракурсов бытия, с его, «грохотом, ритмами, скоростями и нагрузками смальывает, — как писал Шукшин, — человеческие силы особенно заметно»²⁹, и такой глобальный натиск не мог не обострить интереса к вопросу о новых испытаниях «жизни человеческого духа» и сюжетах его томления.

Тема многообразия причинно-следственных связей и типов личностного томления духа, несущего на себе этнокультурную печать современного образа жизни, не обошла стороной многих признанных писателей, в том числе Антуана де Сент-Экзюпери (Франция!) и Василия Макаровича Шукшина («постоктябрьская» Российская империя.). При всей несхожести исходных условий их писательских судеб (геополитических, этнических, сословных, социально-психологических) творчество и Экзюпери и Шукшина исполнено общей тревоги по поводу того, что в ситуации утраты в XX столетии многих гуманистических ценностей все менее и менее защищен мир человеческой субъективности. По глубокому убеждению Экзюпери, которого, по его признанию, мучила «забота садовника», недопустимо и постыдно, что уже давно о розе «неусыпно заботятся, холят ее и лелеют», тогда как «люди растут без садовника»³⁰. Рефреном же всего творчества Шукшина являлось подобное же рода беспокойство за человека: «Свой он на тракте или чужой», но ему необходимо помочь, ибо он «всем существом тянется к прекрасному, силится душой своей ... обнаружить в жизни гармонию»³¹. Эта-та общая для Экзюпери и Шукшина тревога экзистенциально-этического характера и лежит в основе *томления духа* и французского аристократа и русского, родом из Алтая выходца из противоположной среды.

Прежде всего их обоих тревожит феномен дисгармонии, угрожающий судьбе прекрасного и возвышенного начал, а стало быть, и гуманизму в целом. Устами одного из шукшинских персонажей это беспокойство выражено так: «...сколько всего наворочено! А порядка нет»³². А поскольку — при всем разнообразии типов этносов и неповторимости историко-культурного опыта каждого из них — «мы все заодно, уносимые одной и той же планетой: мы — команда одного корабля»³³, в произведениях обоих писателей акцентируется мотив личной ответственности и за восстановление гармонии и за спасение ценностей гуманизма. Именно поэтому их героям так «невыносимо видеть, как поступки и вещи внезапно теряют свой смысл. Тогда обнаруживается окружающая нас пустота...»³⁴. Отсюда и рефлексия над тем, «какая нужна настроженность, чтобы спасти и жизнь и движение в мире, почти уже потерпевшем крушение»³⁵.

По сути, речь идет о мессианской форме томления духа, обуславливающей и тот нравственный максимализм, который прежде связывался лишь с носителями русской ментальности. Однако и жизнь, и поэтика всего наследия Экзюпери, и трагическое завершение в 1944 году его опыта защиты «культы Общего» вносит свои уточнения в трактовку феномена этнопсихологического своеобразия личности, ментальность которой так или иначе связана невидимыми нитями с «космо-психо-логосом» ее народа.

Разумеется, персонажи Экзюпери (прежде всего его друзья-летчики, бедуины в пустыне, где терпит аварию самолет, случайные попутчики, любящие и любимые женщины) не могут быть «спутаны» с героями Шукшина — всеми этими «чудиками» и «странными людьми». Тем не менее мироощущение и маята как самих писателей, так и литературных выразителей всей сложности и страстности их духовно-нравственных исканий исполнены понимания необходимости включения в процесс гуманизации жизни и мира человека.

Отсюда поразительное совпадение задаваемых французским и русским писателями ценностно-смысловых ориентиров. Для Экзюпери несомненно то, что «человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины, и нам надо еще понять самих себя и все-ленную»³⁶; согласно же Шукшину, смысл индивидуального бытия и его оправдание состоят в том, чтобы направить «свое вековое терпение на то, чтобы сделать из себя Человека»³⁷.

Вероятно, томление духа являет собой то понятие и явление, без которого не могла состояться мировая культура. Где бы ни был рожден тот или иной народ, каковы бы ни были его мифы, грезы

и другие формы переживания своей «самости» и уникальности, каким бы этическим и эстетическим категориям при оценке жизненной «диалектики приобретений и утрат» (Гегель) он не отдавал предпочтение, неизменной останется сердечная маята в поисках ответов на Вечные вопросы.

Примечания

- 1 *Виндельбанд В.* Избранное. Дух и история. М., 1998. С. 16.
- 2 *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Юбил. изд. Т. 35. М., 1950. С. 161.
- 3 *Бахтин М.М.* К философии поступка // *Философия и социология науки и техники.* Ежегодник 1984-1985. М., 1986. С. 91.
- 4 *Шукин В.М.* Вопросы самому себе. М., 1981. С. 58.
- 5 Там же. С. 209.
- 6 *Горький А.М.* Полн. собр. соч. в 25-ти тт. Т. 10. М., 1971. С. 7.
- 7 Там же. С. 99.
- 8 Там же. С. 629.
- 9 *Роллан Р.* Собр. соч. в 9-ти тт. Т. 5. М., 1983. С. 11.
- 10 Там же. С. 12.
- 11 *Горький А.М.* Указ. изд. С. 158.
- 12 *Роллан Р.* Указ. изд. С. 12.
- 13 Там же. С. 94.
- 14 *Горький А.М.* Указ. изд. С. 628.
- 15 Там же. С. 126-127.
- 16 Там же. С. 126.
- 17 *Шукин В.М.* Рассказы. Л., 1983. С. 364.
- 18 *Шагинян М.* Избранное. М., 1985. С. 371.
- 19 *Горький А.М.* Указ изд. С. 628.
- 20 *Роллан Р.* Указ. изд. С. 10.
- 21 Там же.
- 22 Там же. С. 14.
- 23 Там же. С. 191.
- 24 *Зиммель Г.* Кризис современной культуры. Пг., 1926. С. 26.
- 25 *Роллан Р.* Указ. изд. С. 192.
- 26 Там же. С. 15.
- 27 Там же. С. 173.
- 28 Там же. С. 193.
- 29 *Шукин В.М.* Вопросы самому себе. С. 34.
- 30 *Сент-Экзюпери А. де.* Избранное. Л., 1977. С. 266.
- 31 *Шукин В.М.* Вопросы... С. 113.
- 32 *Шукин В.М.* Рассказы. Л., 1983. С. 260.
- 33 *Сент-Экзюпери А. де.* Указ. изд. С. 261.
- 34 Там же. С. 139.
- 35 Там же. С. 570.
- 36 Там же. С. 266.
- 37 *Шукин В.М.* Вопросы самому себе. С. 38.